

МЕЖДУ КЛАССИЦИЗМОМ И ПРОВОКАЦИЕЙ

*Горько ведь терять не жизнь саму по себе,
а то, что наполняет ее смыслом.
И если вся наша жизнь — в любви,
то какая разница, жить вместе или
вместе умереть?*

(«Дьявол во плоти»)

Однажды шестнадцатилетний Юкио Мишима в интервью литературному критику на вопрос: «Что такое, по-вашему, идеальная судьба писателя?» ответил: «Это умереть в двадцать лет, успев написать такой шедевр, как “Бал у графа д’Оржеля”. Он имел в виду Реймона Радиге, умершего в Париже от тифозной лихорадки в 1923 году.

А родился Радиге 18 июня 1903, то есть четыре года его короткой жизни, главные годы формирования личности — весь подростковый период — пришлось на мировую войну, а потом еще столько же лет, оставшиеся ему для создания двух романов, — на послевоенный хаос. Этот «трудный возраст» французской литературы, период анархии, иррационализма и нигилизма, когда именно «подростковые романы», романы о взрослении вошли в моду и имели огромный успех, пришел на смену Прекрасной эпохе (Belle Époque) с ее интеллектуальной революцией начала века. Все эти философские споры минувших лет о разуме и вере стали школьными воспоминаниями. Но теперь школу стало можно прогуливать. Как ребенок, переживающий подростковый кризис, психологически отдаляется и отстраняется от родителей, так послевоенный мир отдалялся от прежней морали и эстетики.

Радиге было всего четырнадцать, когда он в коротких, явно перешитых из отцовских, штанах появился в редакции газеты «Энтранзижан», которой руководил Андре Сальмон, и принес рисунки отца-карикатуриста. Тут же робко предложил свои собственные карикатуры (через день они появились на первой странице газеты), а в следующий свой приход, нисколько не смущаясь, сказал: «Вообще-то рисунки меня не очень интересуют, я пишу стихи». Прочитав несколько стихотворений, которые впоследствии войдут в сборник Радиге «Пылающие щеки», изданный после смерти автора, Сальмон, по его собственному утверждению, понял, что «дело серьезно», и представил юного поэта своему другу Максу Жакобу, а тот, в свою очередь, Жану Кокто. Так Реймон Радиге, «дитя с тросточкой», как называли его обитатели Монмартра, появился во французской литературе.

«Радиге начал там, где другие заканчивают: он познал свои границы в том возрасте, когда человек чувствует свою безграничность», — написал о нем Поль Моран.

Реймон Радиге, писатель-комета, стремительно промелькнувший на небосклоне французской литературы, оставил очень яркий след. Бессмысленно говорить: «Сколько он бы еще написал, если бы не умер в двадцатилетнем возрасте!» Не факт. Как сказал сам Радиге: «Все великие поэты свое главное уже написали к семнадцати годам, но самые великие из них сумели заставить об этом забыть». Никто не может ответить на вопрос, работал бы он так же интенсивно и плодотворно, если бы не ушел так рано, во всяком случае, как утверждал Кокто, Радиге не воспринимал юность «по-уайльдовски», то есть как некую сверхценность, ему, напротив, всегда хотелось казаться взрослее (в свои четырнадцать он при знакомстве представлялся восемнадцатилетним), быть «солидным пузатым месье». Реймон Радиге отнюдь не автор единственного романа, как иногда приходится слышать. Даже удивительно, как много он успел к своим двадцати годам. Судьба не дала ему времени на раскачку, на черновик. «Я горел, я спешил, словно люди, знающие, что должны умереть молоды-

ми, и потому живущие взахлеб», — эти провидческие слова Радиге вложил в уста героя «Дьявола во плоти», а получилось о себе самом. Он перепробовал все жанры: проза, стихи, театр, журналистика; любитель музыки, он писал либретто пантомим и опер, талантливый художник, собственными акварелями иллюстрировал свои первые поэтические сборники. А люди, с которыми он сблизился на Монмартре, — это же просто именней указатель энциклопедии культурной жизни Прекрасной эпохи: Аполлинер, Бретон, Жакоб, Кандинский, Кислинг, Модильяни, Пикассо, Пуленк, Сальмон, Сандрар, Стравинский, Сати, Тцара и конечно же Жан Кокто, ставший его близким другом и наставником. Тесно общаясь с молодыми авангардистами, обитателями знаменитого общежития, дома 13 по улице Равиньян на Монмартре, вошедшего в историю литературы под названием «Бато-Лавуар» («Корабль-прачечная»), Радиге умудрился избежать чьего-либо влияния. Даже влияния Кокто, который писал впоследствии: «Это он научил меня не искать опоры ни в чем». Радиге и в самом деле ни в чем и ни в ком не искал опоры — ни в классиках, хотя критики упорно выискивали параллели между ним и Рембо, ни в современниках, например в Аполлинере, который, как говорят, был потрясен, прочитав первые стихи молодого поэта и углядев в них сходство со своими. Они встретились, когда Радиге было семнадцать, и, по воспоминаниям Макса Жакоба, растерянный Аполлинер сказал: «Вы знаете, а Рембо в вашем возрасте уже умер». Вот тут-то Радиге и произнес эту свою знаменитую фразу: «При чем здесь вообще возраст? Все великие поэты свое главное...» Вопрос возраста вообще был для Радиге довольно болезненным, видимо, из-за того, что за свой ему приходилось постоянно не то чтобы оправдываться, но объясняться: «Сказать “я жил” можно в любом возрасте, — уверял он, — даже самом юном». Поэтому его раздражали восторги по поводу его ранней зрелости и мастерства: «Если подумать, — писал он, — это даже оскорбительно по отношению к молодым людям: удивляться, что один из них написал

и принесено в жертву долгу: Маго не желает обманывать мужа, Франсуа — друга. При этом неутоленная любовь приводит к странным последствиям: граф, который поначалу испытывает к жене вежливое равнодушие, начинает ее по-настоящему любить. «Чужое желание будто раскрыло ему глаза на ее ценность, и он сам полюбил». Удивительно, что и к Франсуа граф не чувствует ненависти: «Оржелю нравился Франсуа, потому что Франсуа любил его жену. /.../ [Он], сам того не сознавая, питал некоторую благодарность к Франсуа, какую мы испытываем к тем, кто нам завидует». Перед нами тонкое и глубокое исследование психологии персонажей, сделанное пером сухим и неэмоциональным, без малейшего признака симпатии к кому-либо из героев. Публика спорила о том, кого в романе больше: Радиге или Кокто, но, как писали критики: «Если роман и был исполнен в четыре руки, композитором, безусловно, являлся Радиге». Роман, который сравнивали с классическими психологическими романами, «Опасными связями» и «Принцессой Клевской», завершил короткую карьеру писателя.

«Через три дня меня расстреляют солдаты Бога, — сказал он Жану Кокто за три дня до смерти, — приказ уже отдан».

Алла Смирнова

ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ

Я навлеку на себя немало упреков. Но что тут поделаешь? Разве моя вина, что за несколько месяцев до объявления войны* мне исполнилось всего двенадцать лет? А ведь тревоги и волнения, выпавшие мне на долю той смутной порой, были такого свойства, каких в этом возрасте обычно не испытывают. Но поскольку нет на свете такой силы, что состарила бы нас вопреки природе, то стоит ли удивляться, что я, переживая это приключение, которое и зрелому-то человеку недешево бы обошлось, вел себя именно как ребенок? Тут я не одинок. Сверстники мои тоже сохраняют об этой поре иные воспоминания, нежели взрослые. Так что пусть все те, кого я все-таки раздосадную, просто представят себе, чем была война для многих и многих юнцов вроде меня: четырьмя годами Больших Каникул.

Мы жили в Ф***, на берегу Марны. Совместного обучения мальчиков и девочек** родители мои, в общем, не одобряли. Но что с того? Чувственность, которая рождается вместе с нами и проявляется на первых порах еще вслепую, выиграла и там, где, казалось, должна была проиграть.

* 3 августа 1914 г. Германия объявила войну Франции, тем самым втянув ее в Первую мировую войну. (Здесь и далее прим. перев.)

** Согласно регламенту 1887 г. в каждой коммуне Франции надлежало открыть государственную школу «с параллельно-совместным обучением мальчиков и девочек» — то есть в одном здании, но в разных классах.

Я никогда не был мечтателем. То, что казалось мечтой другим, более легковерным, мне самому виделось не менее реальным, чем сыр кошке сквозь закрывающий его стеклянный колпак. Правда, колпак все-таки существует. Но уж зато стоит ему разбиться — кошка своего не упустит, даже если его разбили сами хозяева и порезали себе руки при этом.

Лет до двенадцати никаких влюбленностей за собой я не припоминаю, кроме увлечения одной девочкой, по имени Кармен, которой я отправил с другим мальчишкой, гораздо младше меня, письмо, где, как смог, выразил свою любовь. Эта любовь казалась мне достаточным основанием, чтобы требовать свидания. Письмо ей передали утром, перед самыми уроками. Надо сказать, что я удостоил своим выбором единственную девочку в школе, похожую на меня, — она была опрятная, чистенькая и ходила на занятия с младшей сестренкой, как я — с братишкой. Чтобы оба этих малолетних свидетеля помалкивали, я предполагал их поженить или что-то в этом роде. Поэтому к собственному письму добавил еще одно, якобы от брата, адресованное м-ль Фоветте. Брату я свои хлопоты объяснил тем, что это исключительная удача — наткнуться сразу на двух девчонок подходящего возраста, да еще с такими редкими именами. Кармен, кстати, действительно оказалась ребенком из приличной семьи, в чем я с грустью и убедился, когда, пообедав дома с родителями (которые меня баловали и многое спускали с рук), вернулся в класс.

Едва мои одноклассники расселись по местам, а сам я, на правах первого ученика, доставал из шкафа, скрючившись в противоположном от двери углу, книги для устного чтения, как в класс неожиданно вошел директор. Ученики встали. Директор держал в руке письмо. Ноги мои подкосились, книги рассыпались. Я кинулся их подбирать. А директор тем временем о чем-то тихонько переговаривался с учи-

телем. Ученики с первых парт уже начали оборачиваться в мою сторону, так как уловили в их шепоте мое имя. Я стоял в дальнем конце класса ни жив ни мертв и пунцовел. Наконец директор подозвал меня и, дабы подвергнуть изощренной казни, не вызвав при этом (как ему казалось) подозрений у моих одноклассников, поздравил с тем, что мне удалось написать письмо в целых двенадцать строк и без единой ошибки. Он еще поинтересовался, сам ли я его написал, а потом предложил прогуляться с ним в его кабинет. До кабинета мы, впрочем, так и не дошли. Он выбрал меня прямо во дворе, под проливным дождем. Но что больше всего меня смутило и поколебало мои нравственные устои, так это его утверждение, будто я совершил два равно тяжких преступления — скомпрометировал юную особу (чьи родители, собственно, и передали ему мое послание) и похитил листок почтовой бумаги. Он грозился отослать этот листок ко мне домой. Я умолял его не делать этого. Он уступил, предупредив, правда, что исполнит угрозу при первом же рецидиве с моей стороны. Он, дескать, не сможет скрывать долее мое дурное поведение.

Эта смесь робости и дерзости в моем характере больше всего вводила в заблуждение моих родителей, поскольку в школе я хоть и ленился, но многое схватывал на лету и слыл хорошим учеником. Я вернулся в класс. Учитель иронически назвал меня Дон Жуаном, чем я был до крайности польщен, в особенности потому, что это было имя из произведения, знакомого мне, но незнакомого моим одноклассникам. В дальнейшем его неизменное «Как дела, Дон Жуан?» и моя понимающая ухмылка в ответ сильно расположили класс в мою пользу. А может, стало известно, что я подрядил карапуза из младших классов отнести письмо «какой-то девке», как выражаются школяры на своем грубом жаргоне. Этого малыша,

кстати сказать, звали Мессаже*. Не могу утверждать, что выбрал его из-за фамилии, но она, по крайней мере, внушила мне доверие.

Еще в час пополудни я умолял директора не выдавать меня отцу, а в четыре уже умирал от желания рассказать ему все самому. Так что отнесем это признание на счет моего чистосердечия. Зная наверняка, что отец не рассердится, я даже восхищался мыслью, что он прознает наконец о моих подвигах.

Итак, я совершил признание, добавив с гордостью, что директор пообещал мне (как взрослому!) полное соблюдение тайны. Отцу захотелось узнать, не сочинил ли я этот любовный роман от начала и до конца. Он навестил директора. Во время визита он как бы между прочим завел речь и о том, что сам считал вздорной выдумкой. «Как? — воскликнул директор, изумленный и уязвленный. — Он сам вам все рассказал? Но он же умолял меня молчать, говорил, что вы его убьете!»

Я простил директору его ложь. Она лишь усугубила мое упоение собственной мужественностью. Одним выстрелом я убил сразу двух зайцев: приобрел уважение товарищей по классу и подмигивания учителя. Директор затаил злобу. Но бедняга еще не знал, что отец, неприятно удивленный его двуличием, уже решил забрать меня из этой школы, дав, правда, закончить учебный год.

Было тогда начало июня. Мать, не желая допустить, чтобы это решение могло повлиять на мои награды, решила приберечь новость напоследок и объявить о ней уже после раздачи грамот и венков. Когда же день настал, директор, который конфузливо побаивался последствий своего вранья, пошел на явную несправедливость, присудив мне — единственному из всего класса — золотой венки, хотя его

* Мессаже (*фр. messenger*) — вестник, гонец, посланец.

заслуживал еще один мальчик, удостоенный всего лишь похвального листа. Плохой расчет: заведение потеряло на этом обоих своих лучших учеников, так как родитель похвального листа тоже забрал своего отпрыска из школы.

Ученики вроде нас служили приманкой — чтобы тянуть за собой остальных.

Мать сочла меня слишком юным, чтобы ходить в лицей Генриха IV. При этом она имела в виду — ездить туда на поезде*. Я, таким образом, оставался дома на целых два года и должен был заниматься самостоятельно.

Я сулил себе сплошные удовольствия, потому что, успевая сделать за четыре часа столько же, сколько мои бывшие одноклассники за два дня, большую часть времени мог предаваться праздности. Я в одиночестве прогуливался по берегу Марны, с которой мы так сжились и так к ней привыкли, что сестренки потом и Сену называли «Марной». Я даже залезал в отцову лодку, несмотря на все его запреты; весла я, правда, не трогал, но избегал признаться самому себе, что боюсь грести не потому, что мне это отец запретил, но потому, что просто боюсь. В 1913 и 1914 годах здесь были проглочены сотни две книг. Причем вовсе не из тех, что считаются плохими, скорее уж — наилучшими, если не по духу, то по содержанию. И лишь гораздо позже, уже в том возрасте, когда отрочество с пренебрежением глядит на книжки из «Розовой библиотеки»**, я вдруг приохотился к этому детскому чтиву, оценив все его наивное обаяние. Но тогда ни о чем подобном я и слышать не хотел.

* Лицей Генриха IV — парижский лицей; из предместья добираться до него приходилось на поезде.

** «Розовая библиотека» — популярная иллюстрированная библиотека детской литературы, выпускалась парижским издательством «Ашет» («Hachette»).

БАЛ У ГРАФА Д'ОРЖЕЛЯ

Правда ли, что души, подобные душе мадам д'Оржель, устарели морально? Пусть у креолки, пусть благородных кровей, но подобная смесь слабости и долга невероятна в наши дни. Добродетель нынче не в моде — распущенность куда острее на вкус, не так ли?

И все же безотчетные действия чистого сердца куда удивительней ухищрений порока. Таков наш ответ женщинам, которые найдут графиню д'Оржель либо слишком честной, либо слишком покладистой.

Графиня принадлежала к знатному роду Гримоаров де ля Вербери. На протяжении многих веков сей дом блистал, как никакой другой, хотя предки графини и не прикладывали к этому ни малейшего труда. Наоборот, они гордились тем, что неизменно оставались в стороне от событий, участие в которых приносило возвышение другим семьям. Однако со временем такая позиция становится опасной. Гримоары были в числе первых среди тех, из-за кого Людовик XIII решил отстранить феодальную знать от власти. Такого оскорбления глава семьи не снес и, разгневанный, со скандалом покинул Францию. Гримоары поселились на Мартинике.

Там маркиз де ля Вербери обрел потерянную было власть и царил над туземцами так же, как его деды царили над своими орлеанскими крестьянами. Плантации сахарного тростника удовлетворили его потребность править и приумножили состояние.

На острове характер Гримоаров странным образом изменился. Сковывавшая их семейная гордость мало-помалу растаяла под ласковыми лучами солнца. Как дерево без ножниц садовника, семья раскинула ветви по всему острову. Едва ступив на берег, люди спешили изъявить Гримоарам свое почтение. А если кто-то при этом оказывался родней — тем лучше для него. Ничего удивительного в таком случае, что первой заботой новоприбывшего Гаспара Таше де ля Пажери было объявить о хоть дальнем, но родстве с влиятельной семьей. Эти слабые узы позднее укрепил брак одной из девиц Таше с кем-то из Гримоаров. Время шло. Таше, несмотря на Гримоаров, влиятельней не стали. А когда во Франции объявили о браке Мари-Жозефы Таше и Богарне*, сына плантатора с Сан-Доминго, всеобщее возмущение и презрение достигли апогея.

Единственными, кто не ополчился на Жозефину даже после ее развода, были Гримоары. Это от нее они узнали о Революции и с радостью приветствовали эту весть. Для них всегда само собой разумелось, что семья, лишившая их исконных прав, долго на троне не усидит. Возможно, вначале им даже казалось, что революция — дело рук аристократов и совершена в их интересах. А узнав, какой оборот приняли дела во Франции, они обвинили жертв гильотины в том, что те не последовали их примеру, не покинули страну вовремя — то есть при Людовике XIII.

Как злорадные соседи подглядывают в окошечко на двери, так подглядывали Гримоары за континентом со своего острова. Революция их ужасно забавляла. Взять хоть замужество их кузиночки с генералом Бонапартом — вот умора! Шутка, однако, пойдет слишком далеко, когда страну объявят им-

* Речь идет о Жозефине, супруге Наполеона I, которая первым браком была замужем за Александром де Богарне. *(Здесь и далее, если не указано иначе, примечания Аллы Смирновой.)*

перией. Для них это стало высшим проявлением Революции. Ордена, титулы, состояния сыпались, как огни фейерверков. Вся страна превратилась в один оскорбительный маскарад, где имена меняли, словно накладные носы. На Мартинике в то время царил страшный переполох. Чудный, оживленный остров во мгновение ока обезлюдел. Жозефине была нужна семья с именем, и она хотела приблизить ко двору всех, вплоть до самых дальних или даже самых бедных родственников, лишь бы кровь была древней. И прежде всего она обращается к Гримоарам. Гримоары не отвечают. Их с Жозефиной отношения возобновятся лишь после ее второго развода. Маркиз даже напишет ей нравоучительное письмо, где объявит, что ни минуты не принимал этого фарса всерьез. Его кров всегда к ее услугам. Тут-то он и даст волю своей ненависти к империи. До сих пор узы родства сдерживали его.

Читатель может удивиться тому, что, следя за семьей через века, мы говорим о ее представителях так, будто это всегда один и тот же человек. Но ведь интересуют нас не Гримоары, а одна из них, живущая сейчас. Нужно же понять, почему мадемуазель Гримоар де ля Вербери, рожденная для того, чтобы нежиться в гамаке под ласковым солнцем, в определенных вещах оказалась лишена того оружия, которым в избытке обладают уроженки Парижа и подобных ему мест, какого бы они ни были происхождения.

Рождение Маго принято было довольно равнодушно. Маркиза Гримоар де ла Вербери никогда прежде не видела новорожденных младенцев. Она стойко сносила родовые муки, но при виде дочери упала в обморок, решив, что родила чудовище. Первое впечатление так и не прошло до конца, и на Маго мать отныне взирала с недоверием. К тому же девочка поздно начала говорить, и долгое время маркиза считала ее немой.

Следующего ребенка мадам Гримоар ждала с нетерпением и уповала на то, что будет мальчик. Ею она заранее наделяла всеми достоинствами, которых упорно не видела в дочери. Маркиза была беременна, когда произошла катастрофа, разрушившая Сен-Пьер*. Каким-то чудом женщина уцелела, но врачи всерьез опасались за ее душевное здоровье и жизнь будущего ребенка. Остров не внушал ей ничего, кроме страха. Остаться там она больше не хотела, а мужу настоятельно рекомендовали ни в чем ей не противоречить и всячески оберегать. Так и получилось, что в июле 1902 года Гримоары высадились во Франции, куда раньше не желали возвращаться ни за какие королевские почести. Поместье Вербери как раз выставили на продажу. Маркиз вернул его себе с чувством удовлетворенной мести. Представляя себя собственным пращуром, которого наконец призвал раскаявшийся Людовик XIII, он всю жизнь посвятил судам со «своими» крестьянами.

Через некоторое время его жена родила мертвого ребенка. Из-за осложнений от пережитого ранее страха материнство стало для нее невозможным. Отчаяние маркизы усугублялось тем, что мертворожденный был мальчиком. С тех пор она все время пребывала в прострации, возлежав на кушетке, как креолка с картинки.

Надежды на сына рухнули, не логично ли было бы обратить материнскую любовь на Маго? Но эта девочка, такая бойкая, полная жизни, казалась ей поношением обманутых чаяний.

Маго росла в Вербери, как дикая лиана. Ум и красота зрели в ней исподволь, но тем вернее. Ласку и нежность Маго нашла только у Марии, старой негри-

* В 1902 г. Сен-Пьер был почти полностью разрушен при извержении вулкана Мон-Пеле.

тянки, которую Гримоары передавали из поколения в поколение, — ту нежную привязанность служанки к госпоже, которая так похожа на любовь.

Когда был принят закон о светском образовании, Маго пришлось учить на дому. Мадемуазель Гримоар поручили старой деве из небогатой, но безупречной провинциальной семьи. Мать Маго дремала целыми днями, а отец заботился только о том, как внушить дочери, что никто недостоин барышни из рода Гримоар. И лишь в восемнадцать лет, выйдя замуж за графа д'Оржеля, сына одного из стариннейших наших родов, она вновь обрела свежесть и беззаботность своих детских лет. Маго обожала мужа, он отвечал ей признательностью и нежной дружбой, которую и сам принимал за любовь. Их брак не пришелся по вкусу разве что старой Марии. Виною тому была разница в возрасте — граф Анн д'Оржель, на ее взгляд, был староват. Тем не менее расставаться с графиней она не захотела и переехала с ней в особняк д'Оржелей. Считалось, что работы у нее там никакой. Но именно поэтому слуги все время скидывали на нее кучу мелких поручений. К концу дня старая негритянка чуть не падала от усталости.

Граф д'Оржель был молод; ему едва исполнилось тридцать. Он был известен и находился в обществе на особом положении, но никто толком не знал почему. Имя было ни при чем — талант все-таки важнее имени для всех, даже самых заядлых поклонников титулованных особ. А все достоинства графа, следует признать, ограничивались происхождением и светским лоском. Не так давно умер его отец, которого все очень уважали, хоть и подтрунивали над ним. Женившись на Маго, граф вернул былой блеск особняку д'Оржелей, доселе погруженному в скуку. Когда война кончилась, именно д'Оржели открыли бал, если можно так выразиться. Покойный граф, наверно, счел бы, что, приглашая гостей, его сын слиш-